

В.М. АКИМОВ

«Товарищ бодрым и веселым...»
(Искания лирического героя поэзии Сергея Есенина)

В лирике Сергея Есенина (а это значит, в сущности, во всей его поэзии) есть несколько *постоянных мотивов*. Один из них — *мотив странничества*. Образ путника довольно рано осознается поэтом как образ, в котором раскрывается его собственная судьба.

Устал я жить в родном краю
в тоске по гречневым просторам, —

подобные признания мы не раз встречаем в ранней лирике. Чувства *ухода* и *возвращения*, утраты и приобретения постоянно, настойчиво переплетаются в стихах Есенина, в его душе. Одно из стихотворений последнего, 1925 года начинается так:

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник...

А заканчивается совсем иначе:

Ворочусь я в отчий дом —
Жил и не жил бедный странник...

Однако «странником» был Есенин особенным. Как бы ни «бегал» он «по планете до упаду», всегда была у него идеальная *родная земля*, которая помогала ему выстоять на всех ветрах времени. Она была для него источником творчества, точкой опоры и точкой отсчета.

«Знаешь, почему я — поэт?.. — говорил он в 1924 году одному из своих знакомых. — У меня родина есть! У меня — Рязань. Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же!.. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины...»

Он был воистину сыном своей земли и своего времени. Судьба России, крестьянских «рязаней» стала его судьбой. «Я люблю родину, я очень люблю родину»... И его чувство к родине с годами становилось все более острым и отзывчивым, утрачивало оттенок безмятежности и покоя. Что такое Родина для Есенина? Это — в духовном плане — прекрасное, идеальное бытие человека, природы, народа — вместе, слитно, в чудесной гармонии. Это одновременно — мечта и реальность, живущая в душе и воплощенная в судьбах крестьянской России. Но этот прекрасный образ, созданный веками согласных трудов души и рук человеческих, трудов народных, на глазах Есенина распадается под ударами времени, разрушаемый и ложными идеями, и утратившими чувство Родины деклассированными людьми.

Какой в этих условиях может быть любовь? Только такой — не созерцательной, но страдающей, горькой и мучительной. «Я пел тогда, когда мой край был болен», — говорил Есенин.

Но более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла.

Настоящий патриот тот, кто вместе с родиной в дни ее трудов и бедствий, а не только в дни побед и торжеств.

Много лет спустя Анна Андреевна Ахматова скажет:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Прекрасные слова подлинной, а не показной любви к народу! Но еще раньше подобное было по-своему сказано Сергеем Есениным. Вместе с его духовными братьями в поэзии тех лет Николаем Клюевым и Сергеем Клычковым он вступился за судьбу родной земли, за русское крестьянство, которое на протяжении веков создавало и хранило гармонию отношений человека и природы.

Степень любви измеряется также и степенью сострадания. Эти особенности есенинского чувства к России нужно понять. Говоря его же словами, «в них правда есть».

И правда эта состоит в том, что и родина Есенина, Рязань, и вся Россия в эти годы сама вышла в небывало трудное странствие, сама переживала необычную судьбу. Ей тоже было нелегко.

Все это с великой искренностью выразилось в лирике Есенина.

Поэтому лиризм поэзии Есенина столько же автобиографический, личный, сколько и всеобщий, национальный. Может быть, даже он переживал общее острее, чем личное. Его лирика поэтому, так сказать, эпична, какой бы отпечаток собственной индивидуальности, почти документальной автопортретности, она ни носила на себе. В есенинском лирическом герое миллионы русских людей узнавали не столько Есенина, сколько себя.

Какой же путь вместе с Родиной, со всей Россией и со своей Рязанью прошел есенинский герой?

В настроениях героя юношеских стихов Есенина преобладают, чередуясь, два состояния. Одно из них — созерцательное погружение в стихию природной и народной жизни, растворение в ней.

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зелени твоих стозвонных.

И *другое*, временами заполняющее стихи Есенина тревожным ожиданием, предчувствие иной, «преступной» судьбы. Преступной в том смысле, что герой переступает через всеобщее, традиционное и принятое, нарушает обычный порядок жизни. Это чувство можно встретить уже в самых ранних из известных стихов:

Будто жизнь на страданья моя обречена,
Горе вместе с тоской заградили мне путь.

(«Моя жизнь», 1911)

Нередко он видит себя отступающим от «нормы»:

Пойду бродягою и вором...
И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее,
Поллюбить тоску.

Откуда же берется то и другое, столь противоположное и несовместимое?

А оттого, что уже в свои 15–16 лет Есенин сделал главное открытие, — он интуитивно почувствовал, что нет больше уверенности в мирной, безмятежной судьбе человеческой души:

Догадался и понял я жизни обман...
Не поможет никто ни страданьям, ни горю.

Надорвалась прежняя вековая связь души и мира, началось крушение векового порядка жизни. И прежнюю жизнь больше не удержать, и от предчувствия иной, неведомой судьбы знобит. Ну, а если с небес поэзии мы спустимся на землю социальной истории, то ясно одно: противоречия Есенина отражают острую противоречивость судьбы человека

деревни, *выходца из деревни* в переломную эпоху революций, войн, трудных и крутых социальных, экономических, духовных перестроек.

В этом отношении драмы и потрясения его поэзии всегда были созвучны времени, его драмам и болям.

Есенин народен не только по языку, по краскам, по ткани и плоти стихов. Он народен по самой своей душевной сути: то, что пережил он и в чем исповедался в своих стихах, пережили (и переживают до сих пор!) миллионы его соотечественников, та крестьянская Русь, которая покидала свою деревенскую, тысячелетнюю колыбель, русскую рубленую избу, и обживала с немалыми трудами новую городскую квартиру, часто не слишком гостеприимную...

Многим этот переезд (в прямом и переносном смысле) давался очень тяжело. Есенину тоже: и в стихах, и в жизни. Мемуаристы говорят, что он никогда не чувствовал себя в городе по-настоящему «дома». У него, прожившего в Москве много лет, так и не было постоянной, любимой им, обжитой квартиры.

«Домом» оставалась деревня.

Под судьбу есенинского героя нужно подставить мысленно эту достаточно распространенную *и тогда и теперь* социальную и психологическую реальность. И при этом условии мы поймем его поэзию в главных фактах, в ее правде, ее движении, ее нестареющих открытиях.

Поэзия Есенина шла в ногу со временем. Старая Россия оставила в наследство новому времени социальную многоукладность. И стопятидесятиmillionный народ шел в будущее сложной массой разных людей, каждый человек в ней шел хоть немного, но своим путем, а не маршировал в колонне солдат.

Есенин был близок к «массовому» человеку. Не случайно, посмеиваясь над Есениным, Маяковский говорил:

Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз слушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!

Подождем обижаться, всмотримся в суть дела: да, из народного хора — но какого! Да, не знаменитый тенор в накрахмаленной манишке у сверкающего черным лаком рояля (впрочем, «солист» мог быть «басом», а вместо фрака выступать в демонстративной желтой кофте. Важно, что — солист. Не как все!). Но вот «балалаечник» вряд ли — балалайка за душу так не берет, как умеет брать есенинский стих.

Есенин не искал себе славы, отдельной от народа. Это Владимир Владимирович себя, пожалуй, так никогда и не почувствовал по-настоящему близким своему народу. Он-то считал себя бесспорным солистом! «Горланом», «главарем». А Есенин и знаменитым-то хотел стать не столько ради себя, а как «крестьянский сын». Прославиться за всех «нашенских», «рязанских».

...А жизнь человека деревни в те годы складывалась так, что нужно было ему все начинать по-новому: иначе жить, иначе думать, иначе действовать. *Жить так, как раньше никогда не жили отцы и деды.*

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи
Оторвал я тень свою от тела.

(1916)

Утрачивается чувство собственной цельности вместе с чувством родственной близости к земле. Так возникает и с годами углубляется «раздвоение», разделение себя на «тень» и «тело», которое приведет и к «Черному человеку», и к «До свиданья, друг мой...».

Так возникает чувство иного, трудного (а с точки зрения традиционной крестьянской морали — «преступного») пути.

Так разрывается надвое его сердце: то тянет счастье безотчетного растворения в родимых просторах:

Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

То невыразимой привлекательности полна иная судьба, сладкая своей опасностью и риском. И лирический герой Есенина вместе с самыми отзывчивыми и впечатлительными душами бросается тогда в водоворот опасностей и перемен.

И чем ближе к событиям революции, тем острее у него предчувствие нового жребия и тем больше распаивается душа перед студеными и обжигающими ветрами времени.

В эти годы одна из самых частых рифм у него: «Русь» и «грусть».

Поэтому так часто и горько, щемяще звучит у него нота прощания:

О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу.

И с такой силой ощущается тоска по утрачиваемой привычной тверди, душевной устойчивости.

Вихри перемен веют над головами жителей деревни, надо всей Россией.

И лирическому герою хочется временами отдалить такую участь, спрятаться от грядущих испытаний жизни в привычное, природное, нерушимое:

Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать.

Или:

Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Но «отрока» не минет горькая чаша, тяжкие испытания — впереди, уже совсем близко. Да он и сам с головой бросится в кипящий котел перемен.

В то же время первые отклики Есенина на грандиозные революционные социальные потрясения были восторженными: «О Русь, взмахни крылами...». В стихотворении «Небесный барабанщик» с энтузиазмом провозглашается «революция на земле и на небесах». Есенин писал, что революцию он принял «с крестьянским уклоном».

Что это значит, как это понимать?

Вчитаемся, например, вот в эти строчки из революционной поэмы Есенина «Инония», написанной в начале 1918 года, примерно тогда же, когда Блок писал «Двенадцать».

Перед нами «град Инония», воплощение воли «коровьего бога». Ее провозглашает «пророк Есенин Сергей»:

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.

Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.

Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.

И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.

Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб

Говорю тебе — будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.

И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

Что мы видим на этой картине?

Поразительная сила есенинской фантазии! Перед нами — космическая деревня! Крестьянская Вселенная. Воплощение мечты о царствии мужицком на земле и на небесах, торжествующая крестьянская утопия. И называется она — Инония, то есть *иная страна*. Царит в ней нерушимый природный покой, та гармония живого, тот мир и порядок, который исключает своевольные человеческие страсти и дела. Порядок счастливой, бес- тревожной и сытой крестьянской жизни, не слишком обремененной, впрочем, и трудом.

В конце того же 1918 года Есенин пишет эстетический манифест «Ключи Марии», в котором этот идеал мужицкой жизни изложен еще более наглядно. Это будет «некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тени- стыми ветвями одного преогромнейшего древа», имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к миро- вому столу все племена и народы.

Вот что значит революция, воспринятая с «крестьянским уклоном». Для Есенина это время — самый разгар утопических мечтаний о новой, вольной деревне, *живущей вне исторического времени*, в ничем не возмутимом условном пространстве Инонии.

Но реальная революция пошла своим, непредсказуемым путем. За восемнадцатым годом наступил девятнадцатый. В стране бушует гражданская война, жесткие нормы «военного коммунизма» подчиняют себе человеческие судьбы, деревня узнала, что такое «продразверстка»... Есенинской «Рязани» пришлось принять все дары и удары времени, живая история ее ничем не обошла. Можно сказать больше: XX век прокладывает свой путь в будущее через самое сердце русского крестьянства. Как написал Есенин вскоре в знаменитом «Сорокоусте»:

По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес.

Взамен мифической Инонии русская деревня узнала и пережила реальную *иную* судьбу.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть...

(1919)

Возникает, как видим, один из устойчивых мотивов, тянется к живому мертвая рука «черного человека». И совсем рядом «Сорокоуст» (1920) — одно из самых сложных и глубоких стихотворений Есенина.

В нем Есенин рисует картину состязания в беге между жеребенком и поездом.

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

В основу стихотворения лег, как известно, действительный случай. Об этом рассказывает поэт в одном из писем. В августе 1920 года во время поездки на юг на перегоне от Тихорецкой до Пятигорска он увидел из окна поезда:

«...за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать и на какой-то станции его поймали».

Казалось бы, простой, незначительный случай, но Есенин в этой картине сумел увидеть глубокий пророческий смысл. В том же письме он продолжает:

«Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни... Она... в революции нашей страшно походит на этого жеребенка тягательством живой силы с железной (...) Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Многое сумел увидеть Есенин в этом эпизоде. Большая поэзия делает великие открытия через малое и мимолетное. Это хорошо понимал и умел Есенин.

И в этом мимолетном случае, в соревновании «живого» и «железного» он увидел проблему века, а не только эпохи «военного коммунизма», продрозверстки и тому подобное, как эти стихи порою трактовали, упрекая Есенина в том, что он защищал деревню от революции.

Смысл стихотворения этого — другой, более широкий, объемлющий более масштабные коллизии времени.

Как человек и как художник Есенин был всеми своими чувствами связан с «живым», «природным», «естественным». И победа «железного», «механического», бездушного вызвала у него понятные опасения за судьбу дорогих ему начал жизни, за сохранение неподдельного, чистого и естественного в мире.

Победа бездушного «железа» не может быть принята есенинской поэзией.

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется, —

воскликает он в «Сорокоусте». И в этом отношении Есенин прав: подлинное искусство всегда было и остается борьбой против «механического», бездушного и безжизненного начала, вторгающегося в жизнь людей.

И наконец самое главное: победа «металла», «механического» начала казалась поэту грозным признаком «умерщвления личности как живого».

Оплакивая «милого, милого дуралея» — жеребенка, Есенин, в сущности, думал о судьбе природы в век «технического прогресса», о личности и ее путях в суровую революционную эпоху; думал о деревне, о себе, о поэзии.

Думал в те дни с тревогой, почти с отчаянием. Он чувствует горькое разочарование в патриархально-романтической иллюзии, в обманувшей надежде на то, что история спокойно и бескровно, словно чудом, обеспечит рай земной в деревне:

И это разочарование стало необходимым ему, хотя и горьким лекарством.

Что же касается личности, то, пожалуй, именно в эти трагические годы «личность», прежде как бы растворенная в природе и крестьянской мирской жизни, получает возможность в муках родиться, выделиться из мирского человеческого потока, выпасть острым кристаллом из насыщенного раствора истории.

Нелегкая, мучительная возможность. Тяжкое самосознание.

В лирической драме «Пугачев», писавшейся вскоре после «Сорокоуста» и законченной к середине 1921 года, герой переживает то, что волновало самого поэта. Не случайно современники воспринимали эту вещь как злободневную, а в Пугачеве видели «самого Есенина».

Конечно, прямое сопоставление было бы неоправданной натяжкой, но лирик Есенин немало вложил в героя от себя самого и своих тревог. Трудна «перестройка», которую переживает Емельян Пугачев, становясь «царем Петром»:

Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.
Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново.

Этот мотив «перестройки наново» себя самого потом надолго станет ведущим у Есенина.

А финал «Пугачева» разве не близок тому, что переживал в это время сам поэт: и у героя поэмы жизнь повернула не в ту сторону, куда он ожидал. Стихийный ход событий обманул. Вот и восклицает Пугачев:

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукой не можешь
двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черемухой в степной
провинции.

Любопытное объяснение причин поражения крестьянского вождя, не правда ли?! Оказывается, все дело в том, что «прошла юность», прошло то, что само по себе было силой и радостью, давало уверенность в победном исходе.

И герой оказывается перед новой порой жизни, «осенью» — «злой и подлой, оборванной старухой». Жизнь складывается как времена года: впереди ждет суровая «зима».

А еще интереснее то, что герой поэмы внезапно и впервые обнаруживает в себе существование... личного внутреннего мира, «души», лежащейся на него почти невыносимой тяжестью внутренней муки, трудного самопознания. Пугачев восклицает в финале:

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь,
как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Мотив *осознанной* внутренней борьбы — во многом новый для поэзии Есенина. В его поздней, зрелой лирике он полно развернут и пережит лирическим героем.

Особое значение в истории духовных исканий героя имеет цикл «Москва кабацкая», стихи которого писались в течение 1921–1923 годов, главным образом во время заграничной поездки.

Иногда можно встретиться с недоверчивым, настороженным отношением к стихотворениям этого цикла. Думается, это можно объяснить только невнимательным их прочтением.

Стихи «Москвы кабацкой» — подлинный поэтический шедевр и настоящее человеческое открытие. В большинстве стихотворений цикла душевное состояние героя, оказавшегося в мучительно трудной ситуации, в душевном «узком промежутке» (и ищущего выхода из него — страстно, самоотверженно, бурно и непримиримо), передано с такой невероятной искренностью и прямоотой, чистотой и чуткостью, что равных по силе этим стихам не так много во всей великой русской поэзии.

«Москве кабацкой» предшествуют стихотворения «Хулиган» и «Исповедь хулигана». Шокирует нас само слово «хулиган». Но Есенин пользуется этим словом в применении к своему лирическому герою, конечно же, с вызовом. В слове «хулиган», как можно понять, он видит неточный, огульный ярлык, который наклеивается на массового городского человека, драматически переживающего «сдвинутую» судьбу, то и дело вступающего в конфликт с «нормой», частенько не знающего, где она и какая эта «норма», плохо чувствующего различие между общепринятым «хорошо» и «плохо». Понятно, что с такой судьбой в городе сталкиваются чаще всего «новожилы», недавние выходцы из деревни, которым труднее всего освоиться в новых для них условиях жизни.

Что же касается самих стихотворений «Хулиган» и «Исповедь хулигана», то, вопреки своим одиозным названиям, они полны чистоты и живой силы.

Тот, кого недобрый и «чужой хохочущий сброд» считает «хулиганом», на самом деле нелегко живущий в городе вчерашний крестьянин, который «нежно болен воспоминаньем детства». С любовью говорит он, лишенный теплоты и приязни окружающих, о друге своего детства — собаке:

О, как мне дороги все те проказы,
Когда у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

Есть в этом образе («хулигана») и другой оттенок: так проявляется «беспокойная, дерзкая сила», не вмещающаяся в тесные, регламентированные городские рамки. Сила эта дает его стихам свежесть и размах, свойственные стихиям природы:

Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Не будет слишком вольным и надуманным предположение, что и «кабак» нужно понимать не только буквально, но и иносказательно. Это обозначение той «сладкой жизни», стихия которой захватила в свое время, скажем, блоковских героев в поэме «Двенадцать». Массовый человек, утративший душевную опору в изменивших ему прежних представлениях о жизни и еще не выработавший трудом мысли и чувства нового взгляда на мир, оказывается жертвой кабацкой, то есть мнимой яркости и насыщенности бытия, кабацких заменителей, заглушающих тоску по утраченным подлинным ценностям.

В цикле тщательно продуман порядок расположения стихов.

Начинается он с того, что есенинский герой *уже прошел через все эти искушения*, знает им цену, *понял их фальшь* и бросает вызов кабацкой, губительной, растлевающей «романтике». У него уже «прояснилась омуль в сердце мгlistом», он готов пойти в бой с кабацким сбродом, от стычек с которым «вся в крови душа».

Но герой знает, как невероятно трудно дается освобождение от фальшивых пристрастий, как велик гнет этой жизни, несущей «черную гибель». Кабацкая болезнь — это и месть за измену родной земле («низкий дом без меня ссутулится»), а «знакомый кабак», куда он идет, «головою свесясь», — символ предательства «родных полей».

И все несомненное для есенинского героя истина: здесь, «в этом логове жутком», гнездится смертельная опасность, поражающая самую душу человеческую. Поддаться ей — значит стать «пропащим», «не вернуться назад», к жизни, к свету.

С грустью понимает он, что «кабак» особенно притягателен для людей слабых, для неудачников, не могущих посмотреть в глаза жизни, оглянуться на покинутое.

«Кабак» стоит преградой на пути к жизни подлинной, он заглушает голос совести, душевной боли. Это средство обезболивающее, но и обезволивающее.

А какие ценности оказываются помятыми мрачной и чадной кабацкой жизнью!

Что-то всеми нами утрачено,
Май мой синий, июнь голубой!
Оттого так чадит мертвячиной
Над пропащею нашей гульбой.

«Май мой синий, июнь голубой»! Чистота и яркость красок действительной жизни отсюда особенно видны. И об их утрате надо криком кричать! «Кабак» не поможет разобраться и в сложности жизни, тут только «гнилая бесшабашность» и «взоры безумные». Ничем не в состоянии в глазах поэта защитить себя «кабак», нет ему оправдания!

Зато все сильнее и чаще сквозь угар и чад, сквозь годы «тяжелых бедствий», распутицу «буйных, безумных сил» пробиваются воспоминания о «деревенском детстве», о «деревенской сини».

Все дальше отходит «кабак» от «родимого края», все больше *противостоит* ему.

И все сильнее звучит в стихах жалоба на себя самого, на стихийную неуправляемость своей жизни:

Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Всегда гордившийся собою, лирический герой едва ли не впервые начинает здесь сомневаться в беспорной правоте стихийного чувства, одной интуиции. Запомним это.

И с особенным удовольствием ощущает он появление у себя новых способностей. Вот, например, прекрасно как сказано: «Прозрачно я смотрю вокруг»! Его уже не пугает — как в «Пугачеве» — «возраст осени», он обещает новые прозрения и приобретения:

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце наполнилось иной,
Кровь отрезвляющею влагой.

Никогда еще стихи Есенина не были так пронизаны потребностью в «прозрачной» и «отрезвляющей» ясности нового взгляда на жизнь.

И рядом с этим так понятен грустный мотив сожаления о растроченных силах. Они, как ему кажется, невозстановимы, и эта утрата — одна из самых досадных, неоправданных.

Завершают цикл раздумья о начинании жизни сначала, о том, что поэт снова начнет мечтать «в дым», но уже по-новому: ведь прежний путь не привел к счастью, не стал осуществлением главной мечты. Теперь нужно

Мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

В эти слова нужно вдуматься. В сущности, речь идет о вещах необыкновенно важных и значительных. Новая «мечта», новый взгляд на жизнь, *новое миропонимание*, «непонятное земле и траве», то есть не традиционное, не крестьянское, — тут для Есенина действительно поворотный пункт.

К концу цикла все острее становится у героя чувство неизбежности нового выбора, до крайности назревшего решения, от которого зависит все: или «завтра больничная койка успокоит меня навсегда», или «я уйду, исцеленный навек».

Цикл «Москва кабацкая» еще не дал исхода исканиям, но он предельно накалил и обострил их, поставил все вопросы, что называется, ребром.

И неотступное, равное ответу на вопрос «быть или не быть», их разрешение переносится на ближайшее «завтра».

Некоторое умиротворение приносят строки заключительных стихов, может быть, лучших во всей поэзии Есенина:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Они не отменяют неизбежности нового выбора, иной жизни, другого пути. Они лишь вводят эти искания в порядок жизни, в череду природных перемен:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

Здесь на более высоком уровне обобщения завершается вторая, главная, тема «Москвы кабацкой» — восприятие душевной «свежести», «буйства глаз и половодья чувств» как самых высоких ценностей жизни. Они возрождаются вопреки тлению и чадной мертвечине «кабака».

Никогда не был поэт так внутренне нетерпелив и подвижен, так внимателен к тому, что прорастало в его душе, что входило в его мысли.

В борьбе и боли рождался в нем человек нового миропонимания.

Жизнь вокруг поэта заметно менялась. Немало поездив по свету, походив по России, Есенин не мог не увидеть, что после бурь и потрясений жизнь входит в новые берега. Есенин не дождался коллективизации — к счастью. Ему, как и многим, казалось в середине 20-х годов, что наступила в деревне во многом новая, но в главном привычная, полная труда и смысла жизнь на принадлежащей крестьянам земле, больше не терзаемой жестокой классовой борьбой. Не все в новой деревне понятно, но *нельзя жить дальше, не разобравшись в происходящем*.

О новом писать трудно, но попытки Есенина — искренни и органичны.

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь.
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Переворот в мыслях и чувствах переживает не один лирический герой Есенина. Вся Россия живет такой же трудной и постигающей себя жизнью:

Знать, у всех у нас такая участь.
И пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

«Радуюсь, свирепствуя и мучась» — какое необычное, нелегкое, но живое сочетание.

И всего более убеждает Есенина то, что иной жизнью живет его «Рязань», родина его лирического героя. Новое, молодое поколение увидело свой новый свет у хижин. Что нашло оно в мире? Какие у него опоры, позволяющие радостно и уверенно смотреть вперед?

Все настойчивее всматривается герой (и миллионы таких же искателей) в то, что стало путеводной звездой для нового поколения русского крестьянства.

Замечателен его разговор с сестрой. Младшей, вроде бы несмышленной:

«Ну, говори сестра!»
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый
«Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

Есенинский герой все храбрится, все хорохорится — ему, бывалому, трудно признать свое поражение — и перед кем! — перед деревенской девчонкой! Но этого не миновать:

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

Размышления о новом истолковании жизни в поэзии Есенина все чаще оказываются связанными — символически — с именами Ленина, Маркса.

Он пишет о Ленине:

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

«Потряс!» — вот в чем суть.

И мы пошли под визг метели
Куда глаза его глядели...

Разгадать тайну этого умения делать жизнь, влиять на людей, «потрясть шар земной», противостоять «визгу метели» стало (как — увидим дальше — и у Маяковского в это же время) острой личной потребностью есенинского героя.

Поэт ничуть не приуменьшает сложностей перестройки.

Многое есенинскому герою понять трудно. «В стране, объята вьюгой и пожаром», многое затянута дымом, скрывается в шуме стихий. «В развороченном бурей быте» трудно ориентироваться. Но вдумаясь в такое его признание:

С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Вот такое высокое мучение — прекрасно и необходимо, оно ведет к познанию истинного пути. Во сто крат страшнее этих мук спокойное равнодушие, холодный отказ от понимания, самодовольное упорство в заблуждениях.

...За год до смерти, в конце декабря 1924 года, Есенин написал два стихотворения: «Метель» и «Весна», соединив их в рукописи под общим названием «Над “Капиталом”».

Размах душевных исканий героя достигает в них небывалой силы.

«Метель» начинается почти отчаянием:

Прядите, дни, свою былую пряжу,
Живой души не перестроить век.
Нет!
Никогда с собой я не полажу,
Себе, любимому,
Чужой я человек.

(Стоит вспомнить, что в первой редакции было: «Нет, никогда я с Марксом не полажу: / Ведь он чужой мне, скучный человек». Последующие есенинские уточнения прояснили суть дела. В сущности, это был не только спор с «чужим» Марксом, а главным образом внутренний конфликт, несогласие с самим собой.)

Но обнаруживается, что, не перестроив живой души, нельзя жить вообще, нельзя вернуть себе и то, что для Есенина раньше всегда было условием счастья,— чувство родственной близости с русской природой. Она вдруг страшно изменилась.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.

Я не люблю
Распевы петуха

Луну, наверное,
Собаки съели.

Оглохший кот похож
На черную сову.

Какой чудовищный паноптикум окружает героя! И даже мать — «как ведьма с Киевской горы». Дальше ему жить уже нельзя — нечем! И герой действительно видит «себя усопшего» в гробу.

А причина всего этого в том, что герой в жизни

Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц Из «Капитала».

«Капитал» здесь, разумеется, иносказание. Суть дела в ином — Есенин понимает, что теперь нельзя жить, оставаясь вооруженным только одной вечной крестьянской мудростью. Она лежит в самом основании национальной духовной культуры, но должна быть обогащена, продолжена в новую эпоху культурой политического и научного понимания сложных процессов жизни. Иначе человек становится жертвой разыгравшихся, беспощадных стихий:

Визжит метель,
Как будто бы кабан,
Которого зарезать собрались.
Холодный,
Ледяной туман —
Не разберешь,
Где даль,
Где близь...

Этот путь сквозь туман был пройден Есениным и его героем до конца.
Поэтому постижение «Капитала» становится равным возвращению к жизни.

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в «Капитале»,
Что для поэтов —
Свой закон.

Так начинается «Весна».

Новое понимание жизни, которой «Капитал» не должен быть помехой, становится для героя защитой от всех стихий, восстановлением прерванной связи с людьми.

Метель теперь
 Хоть чертом вой,
 Стучись утопленником голым,—
 Я с отрезвевшей головой
 Товарищ бодрым и веселым.

Тогда возвращается к человеку свежесть и полнота чувства, восстанавливается гармония его внутреннего мира с прекрасным, вечно обновляющимся потоком жизни природы:

Привет тебе,
 Мой бедный клен!
 Прости, что я тебя обидел.
 Твоя одежда в ржавом виде,
 Но будешь новой наделен.
 Без ордера тебе апрель
 Зеленую отпустит шапку
 И тихо в нежную охапку
 Тебя обнимет повитель.

Есенин, может быть, впервые предъявляет своему герою требования особой душевной стойкости, говорит о человеке, своем современнике, *своим лирическим героем* честные и суровые слова:

Гнилых нам нечего жалеть,
 Да и меня жалеть не нужно,
 Коль мог покорно умереть
 Я в этой завирухе вьюжной.

Умение сопротивляться бушующим стихиям жизни входит отныне у Есенина в новый человеческий «состав», довершает ту переделку «живой души», которую поэт считал такой необходимой и спасительной.

В апреле 1915 года Александр Блок писал юному, двадцатилетнему, Есенину:

«За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее».

Десятилетие, прожитое Есениным с тех пор, показало справедливость этих слов. Каждый шаг к подлинной глубине давался ему с огромным трудом, оплачивался порою трагически дорого. «Вся в крови душа» — не случайные слова.

Но иного, легкого, пути не было ни у Есенина, ни у других его талантливых современников.

В последний год своей жизни, 1925-й, поэт вошел, пережив трудную и мужественную эволюцию, духовно зрелым художником, полным огромной творческой силы.

В «Анне Снегиной» с огромной убежденностью сказал Есенин о великой самоценности жизни, ее прекрасном цветении, с отвращением проклял всякое насилие над жизнью, жертвой которого становятся и люди, и народы, и природа.

Привет тебе, жизни деннина!
 Встаю, одеваюсь, иду.
 Дымком отдаст росяница
 На яблонях белых в саду.
 Я думаю:
 Как прекрасна
 Земля
 И на ней человек.
 И сколько с войной несчастных
 Уродов теперь и калек!
 И сколько зарыто в ямах!
 И сколько зароят еше!

И чувствую в скулах упрямых
Жестокою судоргу щек...

Завершение давно задуманного «Черного человека» было окончательным расчетом с кабацкой нечистью, с отвратительным негативным двойником своего лирического героя.

«Анна Онегина», «Персидские мотивы», множество превосходных лирических стихотворений этого года показывали, как много мог и хотел Есенин. К этому году, может быть, в особенности относятся известные слова Алексея Толстого:

«Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души».

В автобиографии 1924 года Есенин писал:

«Я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди».

Немного оставалось времени у него впереди. Но то, что успел сделать Есенин, стало одним из самых значительных открытий в духовной истории русского человека XX века.